

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

*ГОБСЕК
ОТЕЦ ГОРИО*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.133.1-31
ББК 84 (4Фра)-44
Б21

Серия «Эксклюзивная классика»

Honoré de Balzac

GOBSECK
LE PÈRE GORIOT

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фереца*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Бальзак, Оноре де.

Б21 Гобсек. Отец Горио : [сборник] / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Н. И. Немчиновой, Е. Ф. Корша]. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 416 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-101936-5

«Гобсек» и «Отец Горио». Два самых известных произведения из цикла «Человеческая комедия».

Циничный и умный ростовщик не останавливается ни перед чем ради наживы, алчность заставляет его идти на сомнительные авантюры и, совершенно не испытывая мук совести, калечить человеческие судьбы...

Медленно умирает в бедном пансионе несчастный старик, растративший огромное состояние на обожаемых дочерей — легкомысленных пустышек, интересующихся только любовными интрижками да светскими удовольствиями...

Жажда денег и власти, иссушающая и уродующая душу, и родительская любовь, бесконечная, жертвенная, всепрощающая, — вневременные темы, которые будут актуальны всегда, ведь человеческую натуру изменить невозможно.

УДК 821.133.1-31
ББК 84 (4Фра)-44

ISBN 978-5-17-101936-5

© Перевод. Н.И. Немчинова, наследники, 2018
© Перевод. Е.Ф. Корш, наследники, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2024

ГОбСЕК

Барону Баршу де Пенон

Из всех бывших питомцев Вандомского коллежа, кажется, одни лишь мы с тобой избрали литературное поприще — недаром же мы увлекались философией в том возрасте, когда нам полагалось увлекаться только страницами *De viris*. Мы встретились с тобою вновь, когда я писал эту повесть, а ты трудился над прекрасными своими сочинениями о немецкой философии. Итак, мы оба не изменили своему призванию. Надеюсь, тебе столь же приятно будет увидеть здесь свое имя, как мне приятно поставить его.

*Твой старый школьный товарищ
де Бальзак*

Как-то раз зимою 1829—1830 года в салоне виконтессы де Гранлье до часу ночи засиделись два гостя, не принадлежавшие к ее родне. Один из них, красивый молодой человек, услышав бой каминных часов, поспешил откланяться. Когда во дворе застучали колеса его экипажа, виконтесса, видя, что остались только ее брат да друг семьи, заканчивавшие партию в пикет, подошла к дочери; девушка стояла у камина и как будто внимательно разглядывала сквозной узор на экране, но, несомненно, прислушивалась к шуму отъезжающего кабриолета, что подтвердило опасения матери.

— Камилла, если ты и дальше будешь держать себя с графом де Ресто так же, как нынче вечером, мне придется отказать ему от дома. Послушайся меня, детка, если веришь нежной моей любви к тебе, позволь мне руководить тобою в жизни. В семнадцать лет девушка не может судить ни о прошлом, ни о будущем, ни о некоторых требованиях общества. Я укажу тебе только на одно обстоятельство: у господина де Ресто есть мать, женщина, способная проглотить миллионное состояние, особа низкого происхождения — в девичестве ее фамилия была Горио, и в молодости она вызвала много толков о себе. Она очень

дурно относилась к своему отцу и, право, не заслуживает такого хорошего сына, как господин де Ресто. Молодой граф ее обожает и поддерживает с сыновней преданностью, достойной всяческих похвал. А как он заботится о своей сестре, о брате! Словом, поведение его просто превосходно, но, — добавила виконтесса с лукавым видом, — пока жива его мать, ни в одном порядочном семействе родители не отважатся доверить этому милому юноше будущность и приданое своей дочери.

— Я уловил несколько слов из вашего разговора с мадемуазель де Гранлье, и мне очень хочется вмешаться в него! — воскликнул вышеупомянутый друг семьи. — Я выиграл, граф, — сказал он, обращаясь к партнеру. — Оставляю вас и спешу на помощь вашей племяннице.

— Вот уж поистине слух настоящего стряпчего! — воскликнула виконтесса. — Дорогой Дервиль, как вы могли расслышать, что я говорила Камилле? Я шепталась с нею совсем тихонько.

— Я все понял по вашим глазам, — ответил Дервиль, усаживаясь у камина в глубокое кресло.

Дядя Камиллы сел рядом с племянницей, а г-жа де Гранлье устроилась в низеньком покойном кресле между дочерью и Дервилем.

— Пора мне, виконтесса, рассказать вам одну историю, которая заставит вас изменить ваш взгляд на положение в свете графа Эрнеста де Ресто.

— Историю?! — воскликнула Камилла. — Скорей рассказывайте, господин Дервиль!

Стряпчий бросил на г-жу де Гранлье взгляд, по которому она поняла, что рассказ этот будет для нее интересен. Виконтесса де Гранлье по богатству и знатности рода была одной из самых влиятельных дам

в Сен-Жерменском предместье, и, конечно, может показаться удивительным, что какой-то парижский стряпчий решался говорить с нею так непринужденно и держать себя в ее салоне запросто, но объяснить это очень легко. Г-жа де Гранлье, возвратившись во Францию вместе с королевской семьей, поселилась в Париже и вначале жила только на вспомоществование, назначенное ей Людовиком XVIII из сумм гражданского листа, — положение для нее невыносимое. Стряпчий Дервиль случайно обнаружил формальные неправильности, допущенные в свое время Республикой при продаже особняка Гранлье, и заявил, что этот дом подлежит возвращению виконтессе. По ее поручению он повел процесс в суде и выиграл его. Осмелев от этого успеха, он затеял кляузную тяжбу с убежищем для престарелых и добился возвращения ей лесных угодий в Лиснэ. Затем он утвердил ее в правах собственности на несколько акций Орлеанского канала и довольно большие дома, которые император пожертвовал общественным учреждениям. Состояние г-жи де Гранлье, восстановленное благодаря ловкости молодого поверенного, стало давать ей около шестидесяти тысяч франков годового дохода, а тут подоспел закон о возмещении убытков эмигрантам, и она получила огромные деньги. Этот стряпчий, человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гранлье. Своим поведением в отношении г-жи де Гранлье он достиг почета и клиентуры в лучших домах Сен-Жерменского предместья, но не воспользовался их благоволением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец. Он даже отклонил предложения виконтессы, уговаривавшей его продать свою контору и перейти в судебное ведомство,

где он мог бы при ее покровительстве чрезвычайно быстро сделать карьеру. За исключением дома г-жи де Гранлье, где он иногда проводил вечера, он бывал в свете лишь для поддержания связей. Он почитал себя счастливым, что, ревностно защищая интересы г-жи де Гранлье, показал и свое дарование, иначе его конторе грозила бы опасность захиреть, — в нем не было пронырливости истого стряпчего. С тех пор как граф Эрнест де Ресто появился в доме виконтессы, Дервиль, угадав симпатию Камиллы к этому юноше, стал завсегдатаем салона г-жи де Гранлье, словно щеголь с Шоссе-д'Антен, только что получивший доступ в аристократическое общество Сен-Жерменского предместья. За несколько дней до описываемого вечера он встретил на балу мадемуазель де Гранлье и сказал ей, указывая глазами на графа:

— Жаль, что у этого юноши нет двух-трех миллионов. Правда?

— Почему «жаль»? Я не считаю это несчастьем, — ответила она. — Господин де Ресто человек очень одаренный, образованный, на хорошем счету у министра, к которому он прикомандирован. Я нисколько не сомневаюсь, что из него выйдет выдающийся деятель. А когда «этот юноша» окажется у власти, богатство само придет к нему в руки.

— Да, но вот если б он уже сейчас был богат!

— Если б он был богат... — краснея, повторила Камилла. — Что ж, все танцующие здесь девицы оспаривали бы его друг у друга, — добавила она, указывая на участниц кадрили.

— И тогда, — заметил стряпчий, — мадемуазель де Гранлье не была бы единственным магнитом, притягивающим его взоры. Вы, кажется, покраснели, — почему бы это? Вы к нему равнодушны? Ну, скажите...

Камилла вспорхнула с кресла.

«Она влюблена в него», — подумал Дервиль.

С этого дня Камила выказывала стряпчему особое внимание, поняв, что Дервиль одобряет ее склонность к Эрнесту де Ресто. А до тех пор, хотя ей и было известно, что ее семья многим обязана Дервилю, она питала к нему больше уважения, чем дружеской приязни, и в обращении ее с ним сквозило больше любезности, чем теплоты. В ее манерах и в тоне голоса было что-то указывавшее на расстояние, установленное между ними светским этикетом. Признательность — это долг, который дети не очень охотно принимают по наследству от родителей.

Дервиль помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал так:

— Сегодняшний вечер напомнил мне об одной романтической истории, единственной в моей жизни... Ну вот, вы уж и смеетесь, вам забавно слышать, что у стряпчего могут быть какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то двадцать пять лет, а в эти молодые годы я уже насмотрелся на многие удивительные дела. Мне придется сначала рассказать вам об одном действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать, — речь идет о некоем ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать *лунным лицом*, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и с сильной проседью — пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без

ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсу. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой: я никогда не мог понять, состарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные. Все в его комнате было потерто и опрятно, начиная от зеленого сукна на письменном столе до коврика перед кроватью, — совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимой в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размеренны, как движения маятника. Это был какой-то человек-автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет; так же вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля он берег жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала так же бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мертвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди — человеческим сердцем. Если он бывал доволен истекшим днем, то

потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок веселости, — право, невозможно изобразить иными словами его немую усмешку, игру лицевых мускулов, выразившую, вероятно, те же ощущения, что и беззвучный смех Кожаного Чулка. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на улице Де-Грэ, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе стряпчего и студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном сыром доме нет двора, все окна выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келий: все они одинаковой величины, в каждой единственная ее дверь выходит в длинный полутемный коридор с маленькими оконцами. Да это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь светского повесы, еще раньше чем он входил к моему соседу; дом и его жилец были под стать друг другу — совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырехлетнего соседства и моего примерного поведения, которое по причине безденежья во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные, друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его,

если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких, сухопарых, как у оленя, ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной наполеондор каким-то образом выпал у него из жилетного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему.

— Это не моя! — воскликнул он, замахав рукой. — Золото! У меня? Да разве я стал бы так жить, будь я богат!

По утрам он сам себе варил кофе на железной печурке, стоявшей в закопченном углу камина; обед ему приносили из ресторации. Старуха привратница в установленный час приходила прибирать его комнату. А фамилия у него по воле случая, который Стерн назвал бы предопределением, была весьма странная — Гобсек*. Позднее, когда он поручил мне вести его дела, я узнал, что ко времени моего с ним знакомства ему уже было почти семьдесят шесть лет. Он родился в тысяча семьсот сороковом году в предместье Антверпена; мать у него была еврейка; отец — голландец, полное его имя было Жан Эстер ван Гобсек. Вы, конечно, помните, как занимало весь Париж убийство женщины, прозванной *Прекрасная Голландка*. Как-то в разговоре с моим бывшим соседом я случайно упомянул об этом происшествии, и он сказал, не проявив при этом ни малейшего интереса или хотя бы удивления:

— Это моя внучатая племянница.

Только эти слова и вызвала у него смерть его единственной наследницы, внучки его сестры. На судеб-

* Гобсек (от фр. Gobeck) — Живоглот.

ном разбирательстве я узнал, что Прекрасную Голландку звали Сарра ван Гобсек. Когда я попросил его объяснить то удивительное обстоятельство, что внучка его сестры носила его фамилию, он ответил, улыбаясь:

— В нашем роду женщины никогда не выходили замуж.

Этот странный человек ни разу не пожелал увидеть ни одной из представительниц четырех женских поколений, составлявших его родню. Он ненавидел своих наследников и даже мысли не допускал, что кто-либо завладеет его состоянием хотя бы после его смерти. Мать пристроила его юнгой на корабль, и в десятилетнем возрасте он отплыл в голландские владения Ост-Индии, где и скитался двадцать лет. Морщины его желтоватого лба хранили тайну страшных испытаний, внезапных ужасных событий, неожиданных удач, романтических превратностей, безмерных радостей, голодных дней, попорченной любви, богатства, разорения и вновь нажитого богатства, смертельных опасностей, когда жизнь, висевшую на волоске, спасали мгновенные и, быть может, жестокие действия, оправданные необходимостью. Он знал г-на де Лалли, адмирала Симеза, г-на де Кергаруэта и д'Эстена, байи де Сюффрена, г-на де Портандюэра, лорда Корнуэлса, лорда Гастингса, отца Типпо-Саиба и самого Типпо-Саиба. С ним вел дела тот савояр, что служил в Дели радже Махаджи Синдияху и был пособником могущества династии Махаратов. Были у него какие-то связи и с Виктором Юзом, и другими знаменитыми корсарами, так как он долго жил на острове Сен-Тома. Он все перепробовал, чтобы разбогатеть, даже пытался разыскать пресловутый клад — золото, зарытое племенем дикарей где-то

в окрестностях Буэнос-Айреса. Он имел отношение ко всем перипетиям Войны за независимость Соединенных Штатов. Но об Индии или об Америке он говорил только со мною, и то очень редко, и всякий раз после этого как будто раскаивался в своей «болтливости». Если человечность, общение меж людьми считать своего рода религией, то Гобсека можно было назвать атеистом. Хотя я поставил себе целью изучить его, должен, к стыду своему, признаться, что до последней минуты его душа оставалась для меня тайной за семью замками. Иной раз я даже спрашивал себя, какого он пола. Если все ростовщики похожи на него, то они, верно, принадлежат к разряду бесполовых. Остался ли он верен религии своей матери и смотрел на христиан как на добычу? Стал ли католиком, магометанином, последователем брахманизма, лютеранином? Я ничего не знал о его верованиях. Он казался скорее равнодушным к вопросам религии, чем неверующим. Однажды вечером я зашел к этому человеку, обратившемуся в золотого истукана и прозванного его жертвами в насмешку или по контрасту «папаша Гобсек». Он, по обыкновению, сидел в глубоком кресле, неподвижный, как статуя, вперив глаза в выступ камина, словно перечитывал свои учетные квитанции и расписки. Коптящая лампа на зеленой облезлой подставке бросала свет на его лицо, но от этого оно нисколько не оживлялось красками, а казалось еще бледнее. Старик поглядел на меня и молча указал рукой на мой привычный стул.

«О чем думает это существо? — спрашивал я себя. — Знает ли он, что есть в мире Бог, чувства, женская любовь, счастье?»

И мне даже как-то стало жаль его, точно он был тяжко болен. Однако я прекрасно понимал, что если

у него есть миллионы в банке, то в мыслях он мог владеть всеми странами, которые исколесил, обшарил, взвесил, оценил, ограбил.

— Здравствуйте, папаша Гобсек, — сказал я.

Он повернул голову, и его густые черные брови чуть шевельнулись, — это характерное для него движение было равносильно самой приветливой улыбке южанина.

— Вы что-то хмуритесь сегодня, как в тот день, когда получили известие о банкротстве книгоиздателя, которого вы хвалили за ловкость, хотя и оказались его жертвой.

— Жертвой? — удивленно переспросил он.

— А помните, он добился любовной сделки с вами, переписал свои векселя на основании устава о неплатежеспособности, а когда его дела поправились, потребовал, чтобы вы скостили ему долг по этому соглашению.

— Да, он хитер был, — подтвердил старик. — Но я его потом опять прищемил.

— Может быть, вам надо предъявить ко взысканию какие-нибудь векселя? Кажется, сегодня тридцатое число.

Я в первый раз заговорил с ним о деньгах. Он вскинул на меня глаза и как-то насмешливо шевельнул бровями, а затем писклявым тихим голоском, очень похожим на звук флейты в руках неумелого музыканта, произнес:

— Я развлекаюсь.

— Так вы иногда и развлекаетесь?

— А по-вашему, только тот поэт, кто печатает свои стихи? — спросил он, пожав плечами и презрительно сощурившись.

«Поэзия? В такой голове?» — удивился я, так как еще ничего не знал тогда о его жизни.